Вот

и Нила разлив, крокодильского Нила,

крокодильского Нила разлив.

На окраине Фив

ночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида, красиво, очи полузакрыв!

Ты

прекрасна, ты миф, одаряющий щедро

благодарные полосы нив.

Но поблизости Фив

мне к отплытью готовиться в барке ливанского кедра, слышишь арфы призыв?

He

дожив до войны (слава богу Амону!),

пару лет не дожив до войны,

я загробной страны

дуновению внял и поддался холодному гону

той змеиной волны,

той волны, исподволь абиссинскою кровью гор увитой... Но так не неволь, распусти мою боль, мой клубок жизнелюбия, крови, прокорма, здоровья и не сыпь эту соль!

И бескрайний песок, и просторы не эти ль я любил, но не мог, но не мог тебе верить, мой бог... Моё сердце, пишу, не восстань на меня как свидетель по ту сторону строк.

\*\*\*

Скучно жить стало, в этой связи мирры, что ли, мне привези, перьев страусовых, милый муж, надоело в грязи — то дожди проливные, то сушь.

Хоть и нету тебе житья от причуд моих и нытья, с Пунта дальнего, милый муж, скоро ль с глупостями ладья завернёт в нашу глушь?

Что мечтать о полях Иалу, милый муж, коли служишь злу, служба — умным, нектар — для дур, ты пахучую эту смолу привези да пантеровых шкур.

Пусть не вспыхнет вода огнём под твоим, милый муж, веслом, пусть, с твоим дыханием слит, Шу ни ночью дыханье, ни днём от ноздрей твоих не отвратит.

А вернёшься — податься из этих мест хорошо бы вниз по течению, там-то уж ты простишь мой каприз и тоску мою, муж.

\*\*\*

Я тоже проходил сквозь этот страх — раскрыв глаза, раскрыв глаза впотьмах, — всех внутренностей, выгоравших за единый миг,

и становился как пустой тростник, пустой насквозь, пустее всех пустых, от пальцев ног и до корней волос, я падал в ад,

точней во тьму иль в вашу Тиамат, не находя, где финиковый сад, где друг умерший, где моё дитя, где солнца жар,

где ты, спускающийся в Сеннаар, где та река и где над нею пар, где выдохнутый вон из тростника летучий дар.

Я этим жил на протяженье лет, тех лет моих, которых больше нет ни среди мёртвых, ни среди живых, я извлекал

звук из секунд, попав под их обвал, благодаря тому, что умирал прижизненно, а зря или не зря — поди измерь...

Не так твоими мускулами зверь зажатый пел, как я, скажи теперь? Не песней ли и ты перетерпел ночной кошмар,

ты, с гор спускающийся в Сеннаар? Смотри — река, смотри — над нею пар, как выдохнутый вон из тростника летучий дар!

## илиада. двойной сон

Григорию Стариковскому

В сон дневной уклонясь благотворный, на диване в завешенной комнате, где забвения краткого угли нас греют и предстаёт жизнь иной и бесспорной —

там проснуться как раз ранним летом, внутри сна, на каникулах, двор в окне — его держит полукругом каркас лип, и мальчиков видеть в бликах, в дне нагретом.

Солнце видеть во сне, копьеносных, кудреглавых и вымерших воинов, спи всё дальше и дальше, и ревностней убаюкивай себя в виршах перекрёстных.

Лук лоснится, стрела, перочинный ножик всласть снимает кору, десятый год осады мира тобой, и светла неудвоенной жизни пора, беспричинной.

Сладко спи под морской шум немолчный, покрывалом укрытая шёлковым жизнь, не ведающая тоски мирской. Длись, золотистость игры тая, сон солнечный.

Там Елена твоя, с вышиваньем, за высокой стеной сидит, юная, и в душе твоей ещё невнятная, но — звучит струна, своим грозит выживаньем.

Или лучше, чем явь, краткосмертный сон? — одно дыханье сулишь чистое. Облака только по небу и стремглавь, доноси эхо ахеян лишь, голос мерный.

Вечереющий день ещё будет, не дождёшься ещё своих родичей сердцем, падающим что ни шаг, как тень. Пусть вернутся домой, пусть живых явь не будит.

пол прохладный, тенелиственных сот стена, Елена снится комнате, шелест в одной из ниш — то покров великий ткёт она и двускладный.

В летней комнате тишь,

Ты на нём прочитай рифмой взятый в окруженье текст сверху вниз: трусливо девять строф проспал ты, теперь начинай бесстрашью учиться и проснись на десятой.

## ВАРИАНТ МЕДЕИ

Песенку бубнит придурковатая, голова болит продолговатая.

- Где ты так сошла с ума? —
- Я-то? Ты-то. Я-то? Ты-то. Я-то? Я не знаю сама.
- Слушай, слушай, входит папа в комнату, в тёмную такую, смотрит томно в ту сторону, где я лежу, на себя гляжу я, папой обняту, и в страхе дрожу.

- Что ты тут такое, папа, делаешь с девою, со мной? Ты, папа, деву ешь. Жадно бедненький сопит:
- Ты мне, отвечает, только тело нежь, засыпает, сыт.

Дурочка гундосит свою песенку, песенку свою гундосит плесенку, в сумке роется, со дна достаёт цветную бесполезенку, красится, бледна.

- Слушай, слушай, женихов невиданно мама нагнала, ведь я на выданье, а она, ворожея, всё колдует, чтобы выдать выгодней, сама не своя.
- И загадку жениху, мол, кто, мол, та, что жена и дочь отцу, и молодо нам подмигивает так, а не отгадаешь, мол, размолота твоя жисть, дурак.

К рюмке с ядовитым зельем тянется, а в глазах гуляет-пляшет пьянь отца. — Где ты так сошла с ума и какой танцуешь танец? — Танец? Я не знаю сама.

— Сколько полегло их, невозлюбленных, мамою и папою погубленных, — расчленят и жгут в печи, жалко их, зарубленных-обугленных в золотой ночи.

— В золотой, да с пятернями-звёздами на стекле, да с пауками, гроздьями виснущими со стены, а потом втроём танцуем, — гости мы как бы сатаны.

Песенку бубнит придурковатая, голова болит продолговатая.

— Где ты так сошла с ума?

— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я не знаю сама.

## ОДНА ЖИЗНЬ

А пока подрожим или подорожим солнца сиянием, синих стрекоз стоянием в воздухе дня на весу, плеском, капающим веслом.

Там сосуды озёр сообщаются, пар над вечерней землёй, над извилистою змеёй, над лягушкой с подскоком пауз по низким осокам.

Атом к атому точьвоточь подогнан, и ночь к дню прибита гвоздём — испаряющейся звездой, в подорожнике утром разгоревшейся остриём.

Истины босиком друг за другом гуськом по росе тянутся, ни на миг не расстанутся, лучась, не иссякая. Утренняя Навсикая.

Там, на топких мостках, прачка, бельё в тазах, в мире ни росстани, стирка, белые простыни, согревающим счастьем приникают доски к ступням.

Высекая искру, как из жизни игру, лучепёрая вверх извернётся и высверком плавника глаз уколет, но и радостью утолит.

По стезе золотой поступь чайки литой — жадный взгляд и живой, и накат волны кружевной, и прислужниц мячика вижу, вдали маячащих.

А секунду спустя дачный вижу пустырь — там, предавшись судьбе, залётный атлет в разбеге блещет великолепьем, потрясая, воин, копьём.

За копьём своим вслед чужеземный атлет улетит, кончится август, поздний истончится час, как жизнь, истекая. Плачущая Навсикая.

Синих узких стрекоз с лицами стариков острое зрение, время как измерение, замершее на нуле, насекомое на игле.